

**Д. С. Мережковский**

**14 декабря. Феномен 1825  
года**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6  
ББК 84-4  
М52

**Мережковский Д.С.**  
М52 14 декабря. Феномен 1825 года / Д. С. Мережковский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 262 с.

**ISBN 978-5-4241-2915-5**

На страницах этой книги перед читателями предстают первые российские революционеры – декабристы, их «дум высокое стремление», надежды на пробуждение общества, сомнения в правильности выбранного пути., Роман Д. С. Мережковского «14 декабря» повествует о восстании и следствии по делу декабристов. Автор противопоставляет героев 14 декабря «зверю из Бездны» – российской монархии, с которой они вступили в неравный, обреченный на неудачу бой., Л. М. Ляшенко в очерке «...В том смысл стоянья на Сенатской» задается вопросами: конструктивно или разрушительно по своей природе революционное движение? каковы нравственно-политические позиции декабристов? чем дворянские революционеры отличаются от революционеров последующих поколений?

**ISBN 978-5-4241-2915-5**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© Д.С. Мережковский, 2021

Дмитрий Мережковский,  
Леонид Ляшенко  
Феномен 1825 года



# Д. С.Мережковский. «14 декабря»

Профили пятерых казненных декабристов с обложки первого номера журнала «Полярная звезда», издававшегося в Лондоне А. И. Герценом.

## Книга первая

Четырнадцатое

### Часть первая

#### Глава первая

– Любить землю – грех, надо любить небесное. А я не могу, – больше всего на свете люблю Черемушки. Пока в них жила – и не знала, что так люблю. А вот уехала – и залюбила, затосковала до смерти...

– Вы землю вашу как живую любите, Марья Павловна?

– Ну, конечно, живая! Выбегу, бывало, в рощу – молодые березки – тоненькие, как восковые свечечки, кожаца у них такая мягкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя!

В голубоватом свете зимних сумерек, едва пробивавшемся сквозь обледенелое оконце кибитки, князь Валериан Михайлович Голицын, вглядываясь в милое лицо девушки, думал: «Сама, как та березка весенняя».

Марья Павловна Толычева с виду была обыкновенная уездная барышня из тех, о которых сказано:

Разделены ее досуги

Между роялем и канвой.

Одета по модной картинке из «Телеграфа»: меховой палантин добротного бабушкина гродетюра темно-зеленого, клетчатый капор с розовыми лентами; густая черная коса заплетена в виде корзиночки, с висючими вдоль щек легкими гроздьями локонов; старинные гранатовые серьги в ушах, верно, тоже подарок бабушкин. Хорошо воспитана по-французски. А у самой лицо, как у деревенской девушки, которая сидит на завалинке в желтом, с красными горошинами, платочке, смеется с парнями и грызет семечки.

Может быть, никого еще не любит, но благоуханьем любви окружена, как цветущая сирень свежестью росною.

И все это чувствуют: станционные смотрители, шлагбаумные инвалиды, распаренные чаем купцы толстобрюхие, ямщики краснорожие, – все, глядя на Марию Павловну, думают: «Ах, хороша девка!»

По дороге из Василькова в Петербург Голицын остановился в Москве, чтобы повидаться с членом тайного общества Иваном Ивановичем Пушным. Пушин, служивший в Уголовном департаменте Московского надворного суда, жил у тетки, старосветской барыни, в захолустном особняке в приходе Пятницы Божедомской на Старой Конюшенной. Здесь, тоже проездом в Петербург, остановилась дальняя родственница Пушиных, серпуховская помещица Нина Львовна

Толычева с девятнадцатилетнею дочкою Марией Павловной. Голицын согласился сопровождать их, по просьбе Пущина.

Тогда только что начал ходить из Москвы в Петербург почтовый дилижанс – низкий длинный возок, обтянутый кожей, с двумя оконцами, сзади и спереди. Лежать в нем было невозможно: четыре человека, разделенные перегородкой, сидели друг к другу спиной и смотрели – двое вперед, двое назад – по дороге; а так как прежняя зимняя кибитка означала лежанье, то ямщики прозвали это новое изобретение «нележанцами». Голицын, с обеими дамами и состоявшей при них горничной девкою Палашкою, отправился в таком нележанце.

Госпожа Толычева, родом из семьи зажиточной, привыкла ездить не иначе как по дворянскому обычаю, на своих, на долгих, с молельнею, кухнею, с обозом домашней клади и дворовой челяди. Почтовых дилижансов боялась как неслыханного новшества и рада была надежному спутнику.

Тотчас рассказала ему всю свою историю. Воспитывалась в Смольном. Почти прямо из института вышла замуж и без малого двадцать пять лет прожила с мужем, как у печки погрелась. Павел Павлович Толычев служил в армии; за Итальянский поход произведен Суворовым в подпоручики; в двенадцатом году ранен; вышел в отставку с чином подполковника. Был большого ума человек и даже сочинитель – в «Сионском вестнике» статья его напечатана; с господином Лабзиным был в дружбе, а когда его за вольные мысли сослали, едва не добрались и до Павла Павловича. Терпел гонения, потому что любил правду, злых людей обличал, лихоимцев – чиновников и тиранов-помещиков. Самому архиерею доказывал, что не должно быть крепостного состояния – ни господ, ни рабов. Собственных крестьян своих пожелал отпустить на волю, но начальство не позволило. Фармазоном объявили, безбожником и возмутителем. Губернатор хотел в острог посадить. От многих огорчений Павел Павлович заболел и скоропостижно умер. Нина Львовна осталась одна-одинешенька с малолетнею дочкою. Трех детей при муже схоронила; Маринька – последняя. Дела по имению расстроились; видя доброту покойного барина и не понимая благородных чувств, мужики – отродье хамово – избаловались так, что никакого с ними сладу нет; половина в бегах, половина – пьяницы; ни оброка, ни подушных не платят. Сама ничего в хозяйстве не смыслит; знакомые дамы прозвали ее белоручкою за то, что не бивала людей: боится-де замарать свою ладонь о холопы щеки. А управляющий – плут. Имение в Опекунском совете заложено – долг 25 000, а процентов нечем платить, – продадут с молотка, и ступай по миру.

Но сам Господь над ними, сиротами, сжалился – послал доброго человека. Приехал к родным из Петербурга в Серпухов статский советник Порфирий Никодимыч Аквилонов – в Департаменте внешней торговли служит, – на балу в уездном клубе увидел Мариньку и так пленился, что через несколько дней предложение сделал. Человек немолодой, лет за пятьдесят, но почтенный, благонамеренный, на прекрасном счету у начальства и большой капитал, говорят, имеет. А в Мариньке души не чаёт. «Если, говорит, согласьём очастливите, ничего не пожалею для счастья вашей дочери: выйду в отставку, хозяйством займусь в Черемушках и дела ваши поправлю». Маринька не отказала, но просила подумать. И Нина Львовна не неволит дочери: сама понимает, дело молодое – любви хочется, союза сердечного. А Порфирий Никодимыч ей не пара – в отцы годится. Так-то год прошел, все думала, и, наконец, письмо получили от госпо-

дина Аквилонова: почтительнейше просит участь его решить и, ежели есть надежда, хоть малая, в Петербург пожаловать для свидания личного; да и самой Нине Львовне должно прибыть без отлагательства по делам имения, так как уплата взносов просрочена, могут наложить запрещение и объявить торги.

Есть у них еще надежда на троюродную бабушку, Наталью Кирилловну Ржевскую. Старуха богата, да скупа и привередлива: как заладила, чтоб имение продали и к ней на житье в Петербург переехали, так и стоит на своем. А то, говорит, ломаного гроша от меня не получите. А Маринька об этом слышать не хочет. Лучше, говорит, выйду за Аквилонова, а не уеду из Черемушек. Здесь родилась, здесь и умру.

Кончив рассказ, Нина Львовна заплакала: как ни хвалила жениха, а жаль было дочери.

Голицын сидел в своем отделении ночью с Палашкою, а днем с Ниной Львовной. Но на второй день разболелась у нее голова, и, чтоб ей отдохнуть полулежа, Палашку усадили к ямщику на козла, а Марья Павловна пересела к Голицыну.

Нележанец полз черепахою. Санный путь еще не стал как следует; снегу было мало, полозья визжали по голым камням; возок встряхивало. За перегородкой слышно было сонное дыхание Нины Львовны. Колокольчик звенел усыпительно. В замерзшем оконце густел голубоватый свет вечерних сумерек, похожий на свет, который бывает во сне. И обоим казалось, что снится им сон незапамятно-давний, много раз виденный.

– А мне все кажется, Марья Павловна, что мы уже с вами когда-то виделись. Только вот не могу вспомнить, когда, – сказал Голицын, продолжая вглядываться в милое лицо девушки.

– А ведь и мне... – начала она и не кончила.

– Ну что?

– Нет, ничего. Глупости, – отвернулась, покраснела. Вообще легко краснела, внезапно и густо, во всю щеку, как маленькая девочка, и тогда становилась еще милее. Наклонившись к оконцу, провела по ледяным узорам тоненьким розовым пальчиком.

Вглядывалась в Голицына украдкою, пристально, и лицо его странно менялось в глазах ее, как будто двоилось: то сухое, жесткое, желчное, с недоброй морщинкой около губ, вечно-насмешливой, с пронзительно-умным и тяжелым взором из-под слепо поблескивавших стекол очков – она их вообще не любила: только старики да ученые немцы, казалось ей, носят очки – чуждое, почти страшное; а то вдруг – простое, детское, милое и такое жалкое, что сердце у нее сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда, опасность смертельная. Но все это темно и смутно, как сквозь вещий сон.

– Я ведь вас боюсь немножко, – проговорила, все также вглядываясь в него, украдкой, пристально. – Кто вас знает, может быть, и вы такой же насмешник, как Иван Иванович?

– Пушин предобрый; его бояться нечего. Да и меня тоже.

– Вы тоже добрый?

– А вы как думаете, Маринька... Марья Павловна?

– Ничего. Меня все зовут Маринькой. Я сама не люблю Марьи Павловны, – заглянула ему прямо в глаза и улыбнулась; он – тоже. Смотрели друг на друга,

улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущей близостью, жуткой и радостной, как будто после долгой-долгой разлуки вспоминали, узнавали друг друга.

Вдруг опять отвернулась, покраснела, потупилась. Но сквозь длинные ресницы опущенных глаз он успел поймать стыдливо блеснувшую ласку, – может быть, не к нему, а все равно к кому, – ко всем: так солнечный луч равно ласкает все, на что ни упадет.

– Уж вы меня извините, князь, – проговорила, все еще не поднимая глаз. – Я ужасно дикая. Все одна да одна в своих Черемушках, вот и одичала. С людьми говорить разучилась. Всего боюсь.

– Не стоит людей бояться, Маринька, бояться людей, значит их баловать.

– Да я не людей боюсь, а сама не знаю чего. В Черемушках я не боялась, всегда была храбрая, а как оттуда уехала – такое вдруг все чужое, страшное. Когда была маленькой, няня, бывало, уложит, перекрестит, задернет на кроватке занавеску и говорит: «Спи, говорит, дитяtko, спи, с богом! У кота ли воркота, колыбелька хороша. Да глазок не открывай, из-под занавески не выглядывай, а то возьмет Хо – вон оно под кроваткой лежит». А потом я часто думала, что не только под кроваткой, а везде – Хо. Вся жизнь – Хо...

– А вы от него отчурайтесь, оно вас и не тронет.

– Да как отчураться?

– Будто не знаете?

– Не знаю... Нет, право, не знаю, – медленно, как бы в раздумье, покачала она головой, и длинные локоны вдоль щек, как легкие гроздьи, тоже качнулись. Возок на замерзшем ухабе подпрыгнул, лица их нечаянно сблизились, и нежный локон коснулся щеки его, как будто обжег поцелуем.

– А вы знаете? Ну так скажите.

– Нельзя сказать.

– Почему нельзя?

– Потому что каждый сам должен знать. И вы когда-нибудь узнаете.

– Когда же?

– Когда полюбите.

– Ах, вот что, любовь? – опять покачала головой сомнительно. – А как же говорят, нынче и любви-то настоящей нет, а одна измена да коварство?

– Кто говорит?

– Все.

*Le plus charmant amour*

*Est celui qui commence et finit en un jour.<sup>1</sup>*

Это мне Пущин намедни сказал. И тетенька тоже: «Ах, говорит, Маринька, ты еще не знаешь, какая это птица любовь: как прилетит, так и улетит». И бабенька...

– Сколько их у вас, тетенок да бабенок!

– Ох, много, страсть!

– И вы им всем верите?

– Ну конечно!

У нее была привычка повторять эти два слова: «ну конечно!», и она делала это так мило, что он ждал, когда она их скажет.

– Как же не верить? Надо верить старшим. Сама-то ведь глупенькая, так вот

умным людям и верю. Я вся из чужих слов, как одеяльце из лоскутков пестрен-  
ких.

– А под одеяльцем кто-то прячется? – улыбнулся он.

– А вот узнайте кто, – прищурилась она, глядя на него исподлобья и тоже улыбаясь лукаво-дразнящей улыбкой. И опять блеснул тот солнечный луч, кото-  
рый ласкает все, на что ни упадет.

Помолчала, вздохнула, и лицо омрачилось мыслью недетскою.

– Так-то, князь. Любовь улетит, аХо останется: оно ведь без крыльев, как червяк, ползучее или вот как большой-большой паук, ужасный, отвратитель-  
ный...

Оба замолчали и опять почувствовали, что молчание сближает их не удержи-  
мо растущую близостью.

– Ну хорошо, – сказал Голицын, – пусть бабенки да тетеньки как им угодно. А вы-то сами хотите, чтоб любовь улетела?

– Ну конечно, нет! Я люблю любить крепко – не умею любить немножко. Надо, чтоб епанча не спала с одного плеча, а держалась на обоих твердо.

– Так, Маринька, так! – посмотрел на нее Голицын, как будто, наконец, вспомнил, узнал: «Так вот ты кто!»

– Какая вы хорошая! – проговорил уже другим, тихим голосом.

– Ну вот, нашли хорошую! Вы меня еще не знаете. Спросите-ка маменьку: она вам скажет, какая я несносная девчонка, злая, упрямая.

– Послушайте, Маринька, можно с вами говорить просто?

– Ну конечно. Я сама люблю – просто. Этих церемоний терпеть не могу!

– Так вот что, Марья Павловна, – начал он и вдруг остановился; так же, как давеча Маринька, отвернулся, покраснел и потупился. Она посмотрела на него с любопытством.

– Не выходите замуж: за господина Аквилонова, – проговорил он с внезапной решимостью.

– Это еще что? Почему?

– Потому что вы его не любите.

– Как не люблю? Жених – значит, люблю.

– Нет, не любите. Он для вас – Хо.

– Какие глупости! Человек прекрасный, почтенный, благонамеренный. Может составить счастье всякой девушки. Это все говорят – и маменька, и тетенька, и бабенка...

– А все-таки не выходите.

– Да вам-то что? Какой чудак! И как вы смеете? Мне бы рассердиться надо, а я не умею, дура...

– Ну простите. Не буду. Не сердитесь, хорошая моя, милая, милая девушка...

Он вдруг замолчал. Взглянул на нее украдкой. Опять, как давеча, наклонилась к замершему оконцу и дышала на него, приложив ладони ко рту; потом начала что-то выводить пальчиком на кружке оттаявшем.

– В. Видите, В? Ведь имя вашей невесты с В?

– Какой невесты?

– Вот тебе на! Хорош жених – невесту забыл! Ай-ай-ай, разве так можно? И чего вы от меня таитесь? Я же знаю, мне Пушкин сказывал: у вас в Петербурге – невеста красавица; имя – с В..., Василиса, что ли? Валериан да Василиса. Вот

как ладно, – с одной буквы оба имени! – рассмеялась она звонко, как будто весело, а глаза были грустные.

– Почему с В? Ах, да, – «Вольность», – догадался Голицын и вспомнил:

Мы ждем с томленьем упованья  
Минуты вольности святой,  
Как ждет любовник молодой  
Минуты сладкого свиданья.

– А знаете, князь, ведь это, может быть, и не так? – вдруг перестала смеяться и посмотрела на него строго, почти сурово.

– Что не так?

– Да, вот, насчет любви. Не любовь спасет от Хо.

– А что?

– Не знаю, не умею сказать. Есть такие стишки – покойный папенька их очень любил:

В смиренье сердца надо верить  
И терпеливо ждать конца. —

сказала тихо, но в этой тишине была такая сила, что Голицын посмотрел на нее с удивлением: только что была дитя, и вот – женщина.

В эту минуту возок, съезжая с косогора, наклонился набок и едва не опрокинулся. Маринька в испуге вскрикнула и, схватившись за ручку сиденья, положила нечаянно руку на руку Голицына. Он крепко сжал ее и наклонился близко к самому лицу ее. Она чуть-чуть откинулась, хотела отнять руку, но он не пустил.

– Marie, – послышался невнятный голос Нины Львовны за перегородкою.

Маринька прислушалась, но не ответила. И оба притаились в темноте, как дети, которые шалят.

– А у вас над бровью мушка, – прошептал он смеющимся шепотом.

– Не мушка, а родинка, – ответила она таким же веселым шепотом. – Когда я была маленькой, дети дразнили меня: «У Мариньки родинка – Маринька уродинка!»

Он склонился к ней еще ближе, и она еще дальше откинулась.

– Родная, родная, милая! – прошептал он так тихо, что она могла бы не слышать, если б не хотела.

– Marie, оц ес tu donc, mon enfant?<sup>2</sup> – позвала Нина Львовна уже внятным, проснувшимся голосом.

– Здесь, маменька! Я сейчас... А вот и станция!

Возок остановился. Красные огни и черные тени в оконце забегали. Маринька встала.

– Не уходите, – шепнул Голицын.

– Нельзя. Маменька будет сердиться.

Он все еще держал ее за руку. Вдруг поднес руку к губам и поцеловал, куда никто не целует – в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагревая.

На ночь пересела к нему, по обыкновению, Палашка, а днем – опять Маринька. Госпожа Тольчева перестала церемониться и позволяла дочери сидеть с ним сколько угодно.

Но потому ли, что Нина Львовна не спала и могла их слышать, или потому, что Маринька сама вдруг замкнулась, насторожилась после вчерашнего, – разго-

вор был неловок и незначителен. Она рассказывала о своем житье в Черемушках. В рассказе все было просто и буднично, но стариной незапамятной веяло от него, как милою сказкою.

В конце липовой аллеи с грачиными гнездами, на самом обрыве, над тихой речкою Каширкою – дедушкина беседка с полустертою на фронтоне надписью: «Найтить здесь спокойство». В этой беседке Маринька читала «Удольфские тайнства» госпожи Радклиф и «Страдания Ортенберговой фамилии» господина Коцебу. Вообще любила читать «ужасное и чувствительное». А зимою, в сумерки, когда в полутемной гостиной голубой свет луны сквозь обледенелые окна смешивался с красным светом лампы из маменькиной спальни, кузина Адель пела под клавикорды старинные песенки, такие глупые, такие неясные:

Звук унылый фортепяно,

Выражай тоску мою.

Или еще:

Уж пробил час, и нам расстаться,

Быть может, должно навсегда!

Ах, лъзя ль не плакать, не терзаться?

Бог весть, увидимся ль когда.

И Маринька, слушая, плакала.

Верила в гаданья, приметы вещие, которым научила ее старая няня Петровна: если увидит нитку на полу или круг на песке от лейки – ни за что не переступит. Знала, что, когда топится печь и летят искры, – будут гости; а когда петух поет в необычное время, – надобно снять его с насеста и пощупать ноги: теплые – к вестям, холодные – к покойнику.

Была хозяйка куда лучше маменьки. У них, в Серпухове, дешево все: мясо – пять копеек фунт, пара цыплят – пятьдесят, огурцы – сорок за четверик. Умела их солить как никто во всем уезде. И рукодельница была искусная. Раз начесали шерсти из овечьих душек – что у овец на груди и под шейей, – вымыли и привезли. А Пелагея у них славно прядет – вышла мягкая, чудесная шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что же бы вы думали? Сама выкрасила и очень недурно; прекрасный коврик вышила.

– Вы это нарочно, Маринька? – рассмеялся наконец Голицын, не выдержал.

– Что нарочно?

– Я вам о любви, а вы об огурцах соленых и о душках!

Ничего не ответила, только закусила губку, приложила к ней пальчик и кивнула головой в сторону маменьки, как будто у них была уже общая тайна.

И о чем бы ни говорили, – в каждом слове было иное значение, тайное, важное. Иногда вдруг умолкали, улыбаясь друг другу с удивлением радостным, как будто после долгой разлуки наступило свидание блаженное. И оба чувствовали опять, как вчера, что, хотя не хотят, а сближаются неудержимо растущей близостью. Все еще боялась его, не верила; но, когда сквозь длинные ресницы опущенных глаз ловил он стыдливо блеснувшую ласку, ему казалось, что ласка эта уже не для всех, как вчера, а для него одного.

«Что я делаю? Зачем смущаю бедную девушку?» – иногда опоминался он, а потом опять все забывал, опьяненный благоуханьем любви, которым окружена была милая девушка, как цветущая сирень свежестью росною.

«Вот бы вам, Голицын, жениться на Мариньке», – вспоминал слова Пущина;

принял их тогда за шутку. – «Мы голову несем на плаху, а вы о женьтибе, Пуштин!» – «Ну, что ж, и на плаху идти веселее женатому: все-таки поплачет кто-нибудь. Нет, право, женились бы, избавили бы девушку от старого плута и вьжиги, господина Аквилонова».

Самому ему противно было думать, что Маринька выйдет замуж: за Аквилонова. Когда в паутине бьется мотылек, хочется спасти его от паука. Но как это сделать? В Петербурге будет ему не до Мариньки: там заговор, восстание, низвержение тирана, освобождение Отечества. А может быть, судьбы царств и народов не более весят на весах Божьих, чем судьба одной души человеческой?

Что же такое встреча их – случай или судьба? Если только случай, то почему это узнаванье, вспоминая вешее, как в сновидении незапамятном? А если судьба, то почему он так уверен или хочет быть уверен, что мог бы полюбить ее, но никогда не полюбит, что в этом сне любви несбыточном, последней радости жизни, он с жизнью навеки прощается? Как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, кинулся в колодезь, повис на суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Глядя на лицо ее, такое живое, вспоминал другое лицо, мертвое; в темном свете дневных свечей, в подвенечном белом платье, в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая, – шестнадцатилетняя девочка, Софья Нарышкина.

Не узнавай, куда я путь склонила,  
В какой предел из мира перешла.  
О друг, я все земное совершила:  
Я на земле любила и жила.  
Нашла ли их, сбылись ли ожиданья?  
Без страха верь: обмана сердцу нет;  
Сбылось все: я в стороне свиданья  
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.  
Друг! На земле великое не тщетно:  
Будь тверд, а здесь тебе не изменят...

Не изменит она – не изменит и он. Та первая любовь – последняя. И если бы даже полюбил он Мариньку, не изменил бы Софье. Обе – вместе, земная и небесная. Как в последнем пределе земля и небо – одно, так Софья с Маринькой.

На трети сутки утром возок подъезжал к Петербургу. Когда миновали последнюю станцию, Пулковую, потянуло со взморья теплом; замерзшее оконце оттаяло, заплакало, и сквозь слезы забелела равнина, унылая, снежная, с болотными кочками, как будто могилами исполинского кладбища. А на самом краю белой равнины – черные точки – дома Петербурга.

– Ну прощайте, князь, – сказала Маринька. – Сейчас приедем. Я к жениху, а вы к невесте... Вспоминать обо мне будете?

Он молча поцеловал руку ее, опять, как давеча, в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

– Придете к нам в Петербурге? – спросила она шепотом.

– Приду.

– А если невеста не пустит?

– Никакой у меня невесты нет.

– Правда?